

РУКА НА СТЕКЛЕ



ДЖОН ГРИШЕМ

Джон Гришем
Рука на Стекле

«Автор»

2026

Гришем Д.

Рука на Стекле / Д. Гришем — «Автор», 2026

Ребёнок сказал «мама» и закрыл глаза. Она не знает, кому. Держит его руку. Не разжимает. Если разожмёт — он исчезнет. Не умрёт. Исчезнет. Они похоронили его и сказали: его не было. А утром на мху появились следы. Маленькие. Босые. Тёплые. На его запястье была красная нитка. Узел, который вязала только мёртвая. Та, что ушла к ручью. Та, за которой никто не пошёл. Та, которая лежала в трёх шагах и видела, как они не идут. За невидимым стеклом кто-то прижимает ладонь. Изнутри. Стекло тёплое. Это книга о трёх шагах, которые вы не сделали. О том, что кто-то лежал и видел, как вы стоите.

© Гришем Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА 1. ТРОПА	5
ГЛАВА 2. ПУСТОЕ МЕСТО	7
ГЛАВА 3. БОСЫЕ НОГИ	12
ГЛАВА 4. ТРИНАДЦАТАЯ	17
ГЛАВА 5. РУЧЕЙ	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Джон Гришем

Рука на Стекле

ГЛАВА 1. ТРОПА

Сто семнадцатый день.

Мэтью вылез из палатки, не разгибаясь: поясница тянула ржавым тросом, левая нога не поднималась выше щиколотки, и он пошёл, волоча её по мху и оставляя за собой тёмную влажную борозду. Соседние палатки он не проверял, не смотрел, дышит ли кто, — просто шёл, потому что нужно было идти.

Тропа начиналась сразу за кострищем, там, где мох сменялся гравием, а гравий тонул в грязи, перемешанной с хвоей, и сосны стояли так плотно, что ветер между ними не проходил — только звук иногда, глухой и редкий, как ладонь по полому дереву, и тишина после, от которой начинали звенеть уши.

В правом кармане куртки лежала игла. Анна вчера положила её на пень и ушла, не забрав, или забрала другую — Мэтью не помнил; помнил только, как проснулся и рука сама нашла её: тёплую, тупую, с зазубриной на конце, какой шьют брезент или кожу. В левом кармане лежала ветка, которую Лиз сунула вчера вечером — подошла, разжала его пальцы и вложила, не сказав ни слова, — и ветка пахла смолой и чем-то сырым, нераспустившимся, как будто весна застряла между стволами и не могла пробиться.

Он не спросил, зачем. Больше не спрашивал: вопросы требовали ответов, ответы — признаний.

Тропа сузилась, гравий кончился, под ногами чавкал мох — тяжёлый и набухший, как губка, забытая в воде на неделю, — и Мэтью шаркал, левое плечо уходило вниз, игла давила в ладонь сквозь ткань. Капля упала на плечо, он остановился, поднял голову: над ним нависала сухая ветка с корой, облупившейся чешуйками. Ждал. Три капли. Пауза. Две. Ничего. Пошёл дальше.

Следы он увидел метров через двадцать: два ботинка, ровных и чётких, — кто-то ставил ногу всей подошвой сразу, не с носка и не с пятки, как будто земля должна была принять его целиком, — а рядом другие, меньше, босые, с вдавленными в глину пальцами. Итан пошёл туда. Наверное, босиком кто-то вернулся.

Мэтью стоял, не трогал. Следы шли не вглубь леса, а обратно, к поляне, и он переступил через них и пошёл дальше.

Верёвка лежала в пяти шагах — мокрая, лохматая, с распущенными концами, — и он знал, что если коснуться, волокна прилипнут к пальцам, зацепятся за сухую кожу, придётся отдирать, поэтому не коснулся, перешагнул, и верёвка осталась лежать, тёмная на сером.

Лес не менялся: сосны, ели, берёзы с ободранной корой, свет ровный, без теней, кроны смыкались высоко, и там, наверху, серое становилось чёрным. Мэтью смотрел под ноги — на гравий, на мокрые листья, тяжёлые, как монеты на глазах мертвеца.

Потом увидел ботинок. Один. Завалился под корень, грязный, шнурок развязан и вьётся по земле. Кожа потрескалась, подошва стёрта с одной стороны, как будто ребёнок подворачивал ногу. Долго. Не один день.

Мэтью остановился. Смотрел. Три секунды. Пять. Семь. Не наклонялся. Ботинок лежал под корнем аккуратно, почти бережно. Кто-то снял его и оставил. Кулак в кармане сжался до побеления, остриё иглы упёрлось в подушечку, продавило кожу. Точка боли, короткая и чёткая. Он не отдёргнул руку.

Ботинок был детский. Маленький. И Мэтью знал, чей он не был.

К. не носила ботинок. Ходила босиком. Всегда. Даже в ноябрь, когда земля стыла и пальцы краснели. Говорила: «Я хочу чувствовать землю». Он смеялся. Она улыбалась. И продолжала ходить босиком.

Это был не её ботинок.

Он пошёл дальше, не выбирая направления. Игла в кармане нагрелась, почти обжигала. Ветка пахла смолой и чем-то сладким — переспелые ягоды, которые никто не собрал, и они лопались на ветках, и сок тёк по коре, густо и сладко, с привкусом железа.

Он сбился со счёта. Может, час. Может, два. Тропа петляла, сужалась, расширялась. Лес не кончался.

Поляна открылась не сразу. Сначала стволы раздвинулись на ладонь, потом на две, потом исчезли, и Мэтью вышел на серый свет, который не грел и не слепил. Как всегда. Как утром.

Чайник стоял на плите. Холодный на вид, металл чёрный, с облупившейся краской. Ручка повернута влево. Мэтью всегда ставил ручку вправо.

Он подошёл медленно, ноги шаркали по моху. Остановился у плиты, протянул руку, коснулся металла кончиками пальцев. Горячий. Вода налита десять минут назад, металл ещё не остыл. Пар он не видел, но чувствовал кожей — тонкое, почти ничего. Пар почти перестал подниматься.

Кто-то налил воду. Повернул ручку влево. Стоял здесь. Десять минут назад. Может, меньше.

Мэтью убрал руку. Посмотрел на поляну. Палатки. Пень с кружками. Костёр, догоревший до углей. Четыре фигуры на своих местах.

Сандра сидела у пня и считала кружки. Губы шевелились, пальцы сжимались в кулаки и разжимались. Считала. Снова.

Лиз смотрела на край поляны, на серую стену стволов. Руки пустые, лежали на коленях. Не двигалась.

Анна держала иглу — другую, не ту, что в кармане Мэтью. Нитка на запястье. Не шила. Держала.

Марта пила воду. Поставила кружку. Посмотрела на воду. Снова подняла.

Все сидели. Все были на своих местах. Никто не вставал, никто не подходил к плите, никто не касался чайника.

Мэтью стоял и смотрел на металл, на воду внутри — тёмную, неподвижную, — на ручку, повернутую влево. Вспомнил. Не хотел, но вспомнил. К. стояла у раковины. Кран капал. Она повернулась, вытерла руки полотенцем, сказала: «Почини. Завтра, ладно? Капает всю ночь, я не могу спать». Он сказал: «Завтра». Она улыбнулась, не обиделась, просто улыбнулась и пошла к двери. К ручью. К воде. К тому месту, откуда не возвращаются. Он не починил. Кран капал. Три. Пауза. Две. Каждую ночь.

Мэтью смотрел на чайник, на ручку влево, на четырёх человек, которые сидели и не вставали, на свои руки — пустые, без кружки, без чайника. Не спросил. Не мог. Потому что если спросит — кто-то ответит. Или не ответит. Или скажет: «Не я». И тогда придётся спросить ещё раз, и ещё, и в конце окажется, что никто. Что все четверо сидели. Что никто не вставал. Что вода налилась сама. Что ручка повернулась сама. Что кто-то стоял здесь, у плиты, десять минут назад, и его не было. Или был. Тот, кого они не видели.

Мэтью убрал руку от чайника. Отошёл на шаг. Сел на мох. Руки на коленях, ладони вверх, пустые. Чайник остывал. Металл щёлкнул. Раз. Тишина.

Сандра подняла голову, посмотрела на него, на его руки, на чайник, на ручку влево. Открыла рот. Закрыла. Посмотрела на кружки. Начала считать заново.

Мэтью сидел и слушал, как лес молчит, как мох впитывает воду, как игла в кармане остывает, прижимаясь к ткани. Он не спросил. И никто не сказал.

ГЛАВА 2. ПУСТОЕ МЕСТО

Чайник щёлкнул. Металл нагревался, пар лез из-под крышки, пахло ржавчиной и старой водой. Мэтью снял его с плиты и поставил на камень, который за ночь остыл. Плитой они называли кострище — обгоревшие поленья, зола, плоский валун посередине.

Кружки стояли на пне стопкой. Керамика на керамике. Он разобрал их одну за другой, пальцы знали порядок. Толстая, с отколотым краем — Сандра. Тонкая, почти прозрачная, сквозь стенки видно цвет чая — Лиз. С несмываемым пятном на дне — Анна. Стеклянная, для воды, не для чая — Марта. Эмалированная, с облупившейся краской — его. Остальные десять остались на пне. Пустые, холодные, ничьи.

Он разлил молча. Струйка чая в каждую кружку, тёмная, горячая, с привкусом дыма. Поставил на мох. Последней — свою.

— Пей, пока тёплый.

Никто не взял кружку.

Сандра сидела у пня, шевелила губами. Пальцы сжимались в кулаки, разжимались. Мэтью видел, как подрагивал её подбородок — каждый счёт, каждое число двигало челюсть. Пятнадцать. Она остановилась, посмотрела на кружки. Снова пятнадцать. Кивнула сама себе. На ладонях — следы от ногтей, красные, глубокие. Она сжимала кулаки, когда считала, сильнее, чем нужно.

Лиз сидела у своей палатки, поджав ноги, смотрела на край поляны, туда, где стволы смыкались в серую стену. Пальцы перебирали край куртки — механически, без мысли. Она уже дважды пыталась уйти. Оба раза возвращалась через три часа: тропа кончалась ничем, в третий раз ноги сами повернули назад.

— Я насчитала сто девятнадцать, — сказала Сандра негромко, в воздух, ни к кому.

Мэтью поднял голову. Он стоял у плиты, смотрел на остывающий чайник.

— Сто семнадцать.

— Я считала каждый день. Сто девятнадцать.

— Я тоже считал. Сто семнадцать.

Лиз повернулась к ним. Лицо серое, того же цвета, что свет над поляной.

— А я сто двадцать, — сказала она.

Никто не спросил, почему. Три числа, ни одно не совпадало.

Анна сидела у палатки К. Игла в пальцах, нитка на запястье — один конец обмотан, другой висит, кончается. Она не шила. Держала. Просто держала, как держат то, что не можешь отпустить, но и использовать не можешь.

— Я не считаю дни, — сказала Анна тихо, ровно, будто сама с собой. — Я считаю стежки. Пятьдесят три в день. Иногда больше, иногда меньше.

— Ты помнишь, сколько вчера? — спросил Мэтью.

Анна задумалась. Пальцы дрогнули, игла качнулась в воздухе.

— Нет.

— А позавчера?

— Нет.

Она посмотрела на свои руки, на иглу, на нитку, которая кончалась.

— Я помню, что шила. Что пальцы двигались. А что сшила — не помню. Каждый раз, когда заканчиваю, не помню, что сшила.

Марта сидела у ручья. Кружка с водой, прозрачная, холодная. Она сделала три глотка, поставила. Через паузу — ещё три. Мэтью проходил мимо, она не подняла головы.

— Ты всегда пьёшь по три, — сказал он.

Она подняла голову, посмотрела.

— Если выпью четыре, не смогу остановиться. Буду пить, пока не кончится вода. А потом ждать, пока появится. А она появляется не всегда.

Она снова взяла кружку. Три глотка. Поставила.

Мэтью стоял у плиты. Чайник остывал, пар редел. Он смотрел на кружки на мху, на пар, который поднимался и таял. Никто не пил. Пять кружек, пять струек пара, ни одна рука не протянулась.

— Кто-то налил воду в чайник, — сказал он.

Все замерли.

— Я не наливал. Я пришёл утром, а вода уже была. Ручка повёрнута влево.

— Я всегда ставлю вправо, — сказала Лиз, не поворачиваясь, глядя на лес.

— Я тоже.

— Я не ставлю чайник, — сказала Анна.

— Я не подходила, — сказала Марта. Три слова, ровно.

Мэтью посмотрел на Сандру. Она не подняла головы. Считала кружки. Пятнадцать. Снова пятнадцать.

— Я не наливала, — сказала она.

— Кто-то налил, — повторил Мэтью.

— Или кто-то пришёл, — сказала Анна.

Все повернулись к ней. Она не подняла глаз, смотрела на иглу, на нитку.

— Может, К.

Тишина. Такая, что слышно, как зола оседает на углях.

— Её нет, — сказал Мэтью.

— Я знаю. Но кто-то налил.

— Кто-то из нас.

— Нет. — Анна сжала иглу. — Мы все сидели. Ещё до того, как ты встал. Мы видели друг друга. Никто не вставал.

Никто не ответил. Все видели. Все сидели. Никто не вставал. А чайник был тёплым.

Лиз встала, подошла к пню, взяла кружку К. Пустую, с буквой на дне, с трещиной по ободку. Провела пальцем по трещине, кожа зацепилась.

— Ты помнишь её? — спросила она Мэтью, не глядя на него, глядя на трещину.

— Помню.

— Ты помнишь, как она выглядела?

Он молчал. Смотрел на свои руки, на ожог, на белую кожу без волос.

— Я помню, что она улыбалась, — сказал он. — Когда ставила чайник.

— Она всегда улыбалась, потому что это был ритуал. Она делала это, чтобы мы не молчали. Чтобы мы говорили. А когда её не стало, мы перестали говорить.

Она поставила кружку на пень.

— Мы должны уйти, — сказала Лиз.

Мэтью не повернулся.

— Я шёл шесть часов. В одну сторону. Дороги нет.

— Ты не ходил на север.

Он замер. Пальцы на ручке чайника сжались, костяшки побелели.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что ты всегда идёшь на восток. Каждый раз. Я видела. Ты идёшь туда, где солнце встаёт, по привычке. Но солнца здесь нет. Ты ходишь на восток, потому что там, где солнце встаёт, есть надежда. А ты не хочешь надежды. Ты хочешь, чтобы она была, но чтобы ты не мог до неё дойти.

— Ты не знаешь, чего я хочу.

— Я знаю, чего ты не хочешь. Ты не хочешь уйти. Ты не хочешь найти дорогу. Ты хочешь стоять у плиты и ставить чайник. Чтобы не чувствовать.

Мэтью смотрел на неё секунду, две. Челюсть сжалась, разжалась.

— Я не ставлю чайник, — сказал он.

Лиз моргнула.

— Что?

— Я не ставлю чайник. Сегодня не ставлю. Завтра не ставлю. Я больше не ставлю.

Он отошёл от плиты, сел. Просто сел. Руки на коленях, пустые.

Лес не шумел. Вода в ручье текла. Где-то капнуло. Три. Пауза. Две.

— Ты не умеешь ничего другого, — сказала Сандра, не подняв головы. Считала кружки. Пятнадцать.

— Я знаю, — сказал Мэтью.

— Ты не можешь сидеть и ничего не делать.

— Могу. Сто семнадцать дней я ставил чайник. Наливал. И ничего не менялось. Люди уходили. Люди исчезали. А я стоял с чайником.

Лиз подошла, встала рядом, смотрела сверху вниз.

— Ты не можешь просто сдаться.

— Я не сдаюсь. Я перестаю делать.

— Какая разница?

— Когда я делаю, я думаю, что могу что-то изменить. Когда перестаю — понимаю, что не могу.

— Честно? — Она рассмеялась, коротко, горько. Звук ушёл в стволы и не вернулся. — Честно — это сидеть и ждать, пока мы все умрём?

— Я ставил чайник много дней. Это была моя попытка.

Мэтью сидел на мху, смотрел на свои руки, на пустые ладони. Пальцы искали ручку чайника, не находили, сжимали воздух. Потом он встал, подошёл к плите, посмотрел на чайник. Холодный, пустой, ручка повёрнута влево. Он взял его, поставил на огонь, налил воды, бросил щепоть заварки на дно, чиркнул спичкой. Пламя лизнуло дно, металл загудел.

— Я не могу не ставить, — сказал он, не оборачиваясь. — Я не знаю, как не ставить.

Анна подняла голову, посмотрела на его спину, на левое плечо, ниже правого, на пальцы, согнутые в пустоте.

— К просила сшить ей платье, — сказала она тихо, как будто говорила не с ними, а с иглой, с ниткой. — Я сказала «завтра». Она ушла. Я не сшила.

Мэтью не обернулся. Чайник нагревался, пар начал подниматься.

— Я сшила его через месяц, — сказала Анна. — Положила в её палатку, на спальник. Она не вернулась. Платье до сих пор там. Лежит. Ждёт.

Она вдела нитку в иглу. Один раз, не глядя.

— Ты не виновата, — сказал Мэтью.

— Я знаю. Но я не сшила. И теперь я шью всё время. Каждый день. Чтобы не забыть, что должна была.

Лиз смотрела на Анну, потом на Мэтью, потом на лес. Её пальцы впились в ладони до белого, до боли.

— А что ты предлагаешь? — спросила Сандра, не переставая считать. Пятнадцать. Пятнадцать.

— Уйти, — сказала Лиз.

— Куда?

— Не знаю. Но не стоять на месте.

— Мы не стоим на месте, — сказала Анна. — Мы ждём.

— Чего?

Анна посмотрела на иглу, на нитку, которая кончалась.

— Не знаю. Но если перестанем ждать, перестанем быть. Исчезнем. Как К.

Тишина. К. Никто не произносил вслух, но она была здесь. В каждой кружке, в каждом стежке, в каждом глотке воды.

Мэтью снял чайник, налил чай. В кружку Сандры, Лиз, Анны, Марты, свою. Поставил на мох.

— Пей, пока тёплый, — сказал он второй раз.

Никто не взял.

Сандра пересчитала кружки. Пятнадцать. Кивнула, посмотрела на мох, на кружки, на пар.

— Пятнадцать, — сказала она.

Марта открыла глаза, посмотрела на Сандру, на кружки, на пенёк.

— Я вижу шестнадцать.

Сандра замерла, посмотрела на кружки, пересчитала. Губы шевелились, пальцы сжимались.

— Пятнадцать.

— Шестнадцать, — повторила Марта.

Она подошла к пню, показала пальцем на край, на ту, что стояла отдельно. Белая, с зелёной полоской, с трещиной.

— Вон та. Её не было раньше. Я не видела её. А теперь она есть.

Сандра смотрела на кружку, на полоску, на трещину. Её пальцы замерли, перестали сжиматься.

— Её не было, — сказала Марта.

Сандра молчала.

— Я видела, как ты её достала. Вчера. Ночью. Ты думала, никто не смотрит. Я смотрела. Капля упала с ветки. Одна. На плечо Мэтью. Он не стряхнул.

— Зачем ты её достала? — спросила Марта.

Сандра смотрела на кружку, на трещину, на зелёную полоску. Её губы двигались. Не считали. Говорили.

— Потому что я хотела, чтобы он её увидел.

— Кто?

— Ребёнок.

Тишина. Такая, что воздух между ними стал твёрдым.

— Когда он придёт, он увидит её. Поймёт, что она была не одна.

— Кто он? — спросила Марта.

Сандра не ответила. Смотрела на лес, на серую стену, на стволы, которые смыкались и не пускали.

— Я не знаю, — сказала она. — Но он придёт.

Марта смотрела на неё долго. Потом сделала глоток воды, поставила кружку.

— Я вижу шестнадцать кружек, — сказала она. — И я не знаю, чья она.

Она отошла, села у ручья, закрыла глаза.

Сандра осталась у пня. Смотрела на трещину, на полоску, на букву, которую не было видно, но которая была. Она знала, чья кружка. Знала, зачем достала.

— Он уже приходил, — сказала Сандра тихо, не глядя ни на кого. — Когда К ушла к ручью.

Мэтью замер. Кружка в руке. Чай остывал. Пар редел.

— Что ты имеешь в виду? — спросил он.

Сандра не ответила. Взяла кружку, провела пальцем по трещине. Ноготь застрял в щербине. Она не отдёрнула.

— Сандра. Что ты имеешь в виду?

Она поставила кружку на пень, рядом с кружкой К. Две трещины. Две пустые.

И не объяснила.

Анна положила иглу на пень. Металл коснулся дерева. Короткий щелчок. И всё.

Чайник остывал. Металл щёлкал.

Никто не пил чай.

Никто не спрашивал, что Сандра имела в виду.

ГЛАВА 3. БОСЫЕ НОГИ

Марта сидела у ручья с жестяной кружкой, эмаль на ободке отбита до черноты, и каждый глоток отдавал железом. Она не замечала. Три глотка. Вода ледяная, прозрачная, стекала по горлу, и Марта считала: раз, два, три. Поставила кружку на камень, посмотрела, как течение обтекает гладкий окатыш, подняла снова. Ещё три.

Мэтью прошёл мимо — тень на периферии, запах дыма. Она не подняла головы.

— Три, — сказал он.

Марта поставила кружку. Вода качнулась.

— Ты всегда пьёшь по три глотка.

Она подняла голову и посмотрела не в глаза, а в точку между бровей, туда, где у людей залегает усталость. У Мэтью она залегла давно и глубоко. Навсегда.

— А ты всегда ставишь чайник, — сказала Марта. — Утром. В обед. Вечером. Хотя никто не просит.

Мэтью промолчал и пошёл обратно к поляне, где над углями висел закопчённый котелок и где Анна, поджав ноги, шила очередную рубашку, которой не суждено было найти хозяина.

Марта сделала ещё три глотка. Девять. Квадрат квадрата. Она не знала, почему это важно, но числа стали единственной вещью, которая не врала.

На поляне Лиз точила нож. Нож и так резал, но движение успокаивало: сталь о камень, взад-вперёд, и можно ни о чём не думать. Только о лезвии. Только о том, как оно ловит свет.

Сандра сидела напротив и перебирала кружки. Двенадцать штук, выстроенных в ряд на бревне, как солдаты на смотре. У каждой своё лицо: одна с щербиной, другая с выцветшей синей полоской, третья с налётом, который не отмыть. Сандра знала их все, знала, чья какая, сколько в каждой помещается, если наливать до края, и сколько — если наливать так, чтобы не расплескать.

Сегодня она достала тринадцатую. Зелёная полоска, трещина от ручки к доньшку, тонкая, как волос. Тяжелее остальных: толстое гранёное стекло, из тех, что стояли в советских столовых на столах с клеёнкой. Сандра не помнила, откуда она взялась. Просто однажды оказалась среди вещей.

Лиз прекратила точить. Посмотрела.

— Зачем?

Сандра поставила тринадцатую рядом с двенадцатой и поправила так, чтобы ручка смотрела влево. Как у остальных.

— Для того, кто придёт. Если придёт.

Лиз рассмеялась коротко и нехорошо.

— Сюда никто не придёт, Сандра. Мы проверили. На север — три часа и возвращаешься. На юг — два. Восток и запад просто не существуют. Ты сама считала.

— Считала.

— И?

Сандра подняла глаза. Серые, выцветшие, как ткань, которую слишком часто стирали. В реанимации, где она работала восемь лет, такие называли стеклянными. Не потому что пустые — через них всё видно насквозь и одновременно ничего.

— Я считаю дни, Лиз. Не людей.

Лиз сжала нож. Разжала. Снова сжала.

— Сто семнадцать, — сказала Сандра. — Сто семнадцать дней. К. ушла сто семнадцать дней назад.

— Сто девятнадцать, — сказала Лиз. — Я считала по зарубкам.

— Сто двадцать, — сказала Анна, не поднимая головы от шитья.

Тишина. Та, что бывает только в лесу, когда деревья слушают.

Мэтью подошёл к котелку, поднял крышку — пар ударил в лицо, и он прищурился. Вода закипала, мелкие пузырьки со дна, ленивые, неохотные. Он бросил щепоть заварки, сухой, чёрной, с палочками. Аромат поднялся горький, землистый, с привкусом дыма.

— Чайник, — сказал он, чтобы прервать молчание, которое начинало давить.

Лиз встала, нож в чехол на поясе.

— Я пойду. Сегодня. По реке. Река должна куда-то вести.

— Река течёт в лес, — сказал Мэтью.

— А я из леса.

Она не посмотрела ни на кого, закинула рюкзак на плечо — лёгкий, потому что нечего было нести, — и пошла к кромке деревьев. Сандра проводила её взглядом и не остановила. Останавливать не было смысла: Лиз уходила каждые три дня и возвращалась через четыре часа. Молча. С грязными руками. Не помня, что делала.

В этот раз Сандра не стала считать, во сколько она вернётся. Она смотрела на тринадцатую кружку.

Первым заметил Мэтью. Он стоял у котелка и разливал чай по кружкам аккуратными круговыми движениями, чтобы не капнуть, когда лес замолчал. Плотная тишина, не перед дождём, когда птицы прячутся и ветер ложится, не ночная, сонная. Другая. Будто кто-то выключил звук, но оставил свет.

Мэтью замер с котелком в руке. Пар поднимался, обжигал пальцы, он не чувствовал.

Потом — звук. Ткань о ткань. Мягкое, чуть слышное касание. Кто-то шёл босиком по мху, и мох принимал каждый шаг, не сопротивляясь, не издавая ни звука, но Мэтью всё равно слышал. Не ушами. Чем-то другим, тем, что проснулось в нём на сороковой день и с тех пор не засыпало.

Он повернулся.

Из-за стволов медленно, как будто раздвигая невидимую занавесь, вышел ребёнок. Мальчик. Лет семь, может, восемь — трудно определить, когда лицо худое, а ключицы торчат остро, обтянутые кожей. Одет в серую футболку, слишком большую, до колен. Шорты грязные, мокрые снизу. Шёл через ручей. Или ложился в него. Или спал в нём.

Босой. Ноги в царапинах, на левой засохшая кровь, бурая, с зеленью от мха. Пальцы белые, сморщенные от воды. Он стоял на поляне и не двигался, смотрел не на Мэтью, не на костёр, не на палатки. Смотрел сквозь. Туда, где ничего не было. Или туда, где было что-то, чего Мэтью не видел.

Мэтью поставил котелок. Медленно, чтобы не гремел, чтобы не спугнуть.

— Сандра, — сказал он тихо, так говорят в палатах, когда пациент спит и может проснуться. — Сандра.

Она уже стояла. Он не услышал, как она встала и подошла. Просто она была рядом. Близко. Слишком близко к ребёнку, но не касаясь. Руки опущены, ладони раскрыты — жест, которому её учили: не хватать, не тянуть. Показать, что ты пустой. Что ты безопасен.

Мальчик не отступил и не шагнул вперёд. Стоял.

Сандра смотрела на его запястье. Левое. Тонкое, кость близко к коже, как у всех голодных детей. И на нём — нитка. Красная. Три витка вокруг кости. Узел.

Сандра узнала его сразу. Как узнают запахи, которые не нюхала двадцать лет, но помнишь до тошноты, до дрожи. Тот же узел, что на палатке К. Тот же, что завязывала она — К., с её длинными пальцами, с её привычкой прикусывать губу, когда затягивала нить. Сандра видела, как она вязала. Сотни раз. На палатке, на рюкзаке, на всём, что нужно было закрепить. Особый узел — не морской, не хирургический. Свой. Выдуманный. «Чтоб держало, — говорила К. — Чтоб никуда не делось».

Сандра не дышала.

— Мэтью, — сказала она. Голос чужой, тонкий, на пределе. — Его запястье.

Мэтью посмотрел. Увидел. И тоже перестал дышать.

Анна подошла последней. Она не бросила шитьё, просто отложила на бревно, аккуратно, иголкой вверх, чтобы не потерялась. Подошла медленно, посмотрела на мальчика, на его ноги, на нитку. И сказала одно слово:

— Босой.

Никто не ответил. Потому что это было единственное, что можно было сказать, и единственное, что не имело смысла. Босой — в лесу. Босой — через ручьи, через коряги, через хвою, которая впивается, как иглы. Босой — и без единой глубокой раны. Царапины, ссадины — да. Но подошвы целые. Будто мох поднимался навстречу каждому шагу.

Мальчик не говорил. Не плакал. Не дрожал. Смотрел в никуда. Стоял, как дерево.

Сандра опустилась на корточки, медленно, колени хрустнули, она не услышала. Её лицо было на уровне его лица, и она смотрела ему в глаза — серые, прозрачные, без дна. Такие глаза бывают у людей, которые видели что-то и не могут это развидеть.

— Как тебя зовут?

Молчание.

— Ты голодный?

Молчание.

— Ты... откуда ты пришёл?

Мальчик моргнул. Один раз. Медленно. И его взгляд впервые сфокусировался. Не на Сандре. На бревне за её спиной. На кружках. На двенадцати. И на тринадцатой.

Он сделал шаг. Сандра не двинулась. Он прошёл мимо неё — босыми ногами по хвое, бесшумно, — и подошёл к бревну. Остановился перед тринадцатой кружкой. Смотрел. Зелёная полоска. Трещина. Ручка влево.

Сандра встала, повернулась, наблюдала.

Мальчик протянул руку. Правую. Пальцы тонкие, грязные, с обломанными ногтями. Коснулся кружки. Провёл пальцем по трещине — от ручки к донышку. Проверял. Узнавал.

Потом взял кружку двумя руками. Поднёс к лицу. И его губы зашевелились. Без звука. Медленно. Отчётливо. Сандра видела, как двигаются его губы, видела каждую букву, каждую форму, которую они принимали.

К.

Он прочитал букву «К», выгравированную на донышке кружки. Ту самую, что Сандра нацарапала гвоздём три года назад, когда ещё верила, что вещи нужно подписывать, чтобы они не терялись. К. — для Кати. Для К. Для той, что ушла.

— Ты знаешь эту букву? — спросила Сандра. Голос сорвался. Впервые за три года. Она не пыталась его контролировать. Не могла.

Мальчик не ответил. Он держал кружку у лица, как держат чашку с горячим чаем, когда хотят согреться.

Мэтью стоял в трёх шагах. Руки опущены. Кулаки сжаты от усилия не подойти, не схватить, не проверить, настоящий ли.

— Он не говорит, — сказал Мэтью.

— Я вижу.

— Он читает.

— Я вижу.

— Откуда он знает эту букву, Сандра?

Она не ответила. Потому что не знала. Потому что знать было невозможно. Потому что К. не было несколько месяцев, а этот ребёнок — с её ниткой, с её узлом, с её буквой — стоял на поляне, держал её кружку и молчал.

Лиз вернулась через два часа. Раньше обычного. Она вышла из леса с другой стороны — с той, откуда не уходила. Руки в грязи. Лицо ровное, пустое. Увидела мальчика. Остановилась. Посмотрела на Сандру. На Мэтью. На кружку в руках ребёнка.

— Кто это?

— Мы не знаем, — сказал Мэтью.

— Откуда он?

— Из леса.

Лиз посмотрела на его ноги. Босые. Чистые, если не считать царапин. Она открыла рот. Закрыла. Села у костра. Достала нож. Не точила. Просто держала.

Вечер. Костёр горел ровно — Мэтью сложил дрова так, чтобы хватило до утра. Не слишком жарко, не слишком ярко. Достаточно, чтобы видеть лица и не видеть того, что за деревьями.

Мальчик сидел у огня. Сандра накинула на него одеяло — своё, серое, с запахом дыма и давно забытой стирки. Он не отстранился. Сидел, завёрнутый с головой, и смотрел в огонь. Кружка стояла рядом на земле. Пустая. Он не пил из неё.

Лиз сидела напротив и точила нож — снова, хотя лезвие было острым, как бритва.

— Мы не можем его оставить, — сказала она.

— Он не просит, — сказал Мэтью.

— Он ребёнок, Мэтью. Он не должен просить.

— А что ты предлагаешь? Искать его родителей? В лесу? Который не отпускает?

Лиз замолчала. Сила нажатия на камень увеличилась, лезвие взвизгнуло.

Анна сидела в стороне. Шитьё на коленях. Она не участвовала в разговоре. Слушала. Не слова. Что-то под ними — как воду подо льдом.

Марта пила воду. Она не смотрела на мальчика. Смотрела в кружку, на своё отражение в воде — мутное, кривое, чужое.

— Сто семнадцать, — сказала Сандра вдруг.

Все посмотрели.

— Сто семнадцать дней, — повторила она. — К. ушла сто семнадцать дней назад. Он пришёл на сто семнадцатый день.

Лиз шевельнула губами — сто девятнадцать, — но смолчала.

— Совпадение, — сказала она.

— Ты веришь в совпадения?

— Я верю в то, что вижу. А вижу я ребёнка, который вышел из леса. Босого. С ниткой на руке. Это всё. Остальное ты сама себе придумываешь.

Сандра не ответила. Может, и придумываю. Может, и нет. В реанимации она научилась: совпадения бывают. Но не такие. Не с узлами. Не с буквами. Не с ниткой, завязанной человеком, которого больше нет.

Огонь трещал. Искры летели вверх — маленькие, оранжевые, и гасли, не долетев до веток.

Мальчик не двигался.

Ночь. Мэтью подбросил дров. Лиз ушла в свою палатку — не попрощавшись, не оглянувшись. Анна — в свою. Марта осталась у ручья: сказала, что ей нужно слышать воду. Мэтью не спорил.

Сандра сидела рядом с мальчиком. Он заснул быстро, без перехода, как засыпают дети: просто закрыл глаза и перестал быть здесь. Голова склонилась набок. Одеяло сползло с плеча. Сандра поправила. Пальцы коснулись ключицы — острой, выступающей. Кожа тёплая. Живая.

Она сидела и смотрела на него. На его лицо — спокойное во сне, без морщин, без напряжения. На его руку — тонкую, с красной ниткой, что лежала на одеяле, как шрам на коже. Три витка. Узел. Тот самый.

Сандра не плакала. Она разучилась. В реанимации слёзы — роскошь. Там плачут только один раз: в первый год. Потом сухо. Потом навсегда.

Она просто сидела. Считала его дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Двадцать вдохов в минуту. Живой. Настоящий.

И тут его губы зашевелились.

Сандра наклонилась. Близко. Так близко, что почувствовала запах — не грязи, не пота. Запах воды. Речной, холодной воды. И ещё чего-то. Хвои. Мокрой коры. Леса, который не пахнет, как обычный лес.

Губы двигались. Ровно. Едва уловимо.

Шёпот. Тонкий. Тихий. Едва различимый.

— Сто семнадцать.

Сандра замерла.

— Сто семнадцать. Сто семнадцать.

Она не дышала. Не двигалась. Только слушала.

— Сто семнадцать. Сто семнадцать. Сто семнадцать.

То же число. То самое, что Мэтью считал утром, когда смотрел на котелок и пытался вспомнить, сколько дней они здесь. То самое, что Сандра считала каждый вечер перед сном. То самое, что было вырезано на внутренней стороне палатки К. — её рукой, её ножом, в ту ночь, когда она поняла, что лес не отпустит.

Мальчик не мог это знать. Он был в лесу. Он пришёл сегодня. Он не слышал, как Мэтью считал. Не видел зарубок на палатке. Не знал, что Сандра считает дни. Не мог знать.

Но он шептал. Снова. И снова. Число, которое держит мир от того, чтобы развалиться.

Сандра подняла голову.

Мэтью стоял у края поляны. Спина к ним. Смотрел в лес. Но она видела — по тому, как напряглись его плечи, по тому, как он сжал руки, — он слышал. Он слышал каждое слово.

Он медленно повернулся. Их взгляды встретились через костёр. Через угли, которые уже не горели, а тлели — красные, пульсирующие, живые. Мэтью смотрел на неё. Сандра смотрела на него.

И мальчик между ними шептал, не просыпаясь:

— Сто семнадцать. Сто семнадцать. Сто семнадцать.

Мэтью сделал шаг. Остановился. Открыл рот. Закрыл. Не было слов. Все слова, которые он знал, не подходили. В лесу, который не отпускает, числа говорят громче, чем люди.

Сандра опустила руку на голову мальчика. Осторожно. Как касаются того, что может исчезнуть. Волосы мягкие. Тёплые. Живые.

Шёпот не останавливался.

До утра.

ГЛАВА 4. ТРИНАДЦАТАЯ

Вечер оседал на кожу, свет густел, становился осязаемым. Костёр догорел до углей, воздух над ними дрожал и не грел.

Ребёнок лежал на боку. Колени подтянуты к груди. Пальцы обхватывали кружку — пустую, белую, без трещины. Просто белую. Он не пил из неё. Не подносил к губам. Держал, как держат то, что нужно беречь, но нельзя использовать.

Сандра сидела в двух шагах. Считала его дыхание. Вдох. Пауза. Выдох. Вдох — пауза — выдох. Ритм был слишком ровным. Слишком похожим на тот, который она запомнила. Тот, который не должен был повториться.

— Он не спит, — сказала она, не оборачиваясь.

Мэтью стоял у пня. Она знала, что он там. Слышала, как он дышит — тоже ровно, тоже размеренно. Как будто ждал.

— Может, ждёт, — сказал он.

— Чего?

— Не знаю. Может, чая.

— Он не просил.

— Он не говорит.

Сандра подняла голову. Посмотрела на его руки. Пальцы сжаты в кулаки. Ожог на правой ладони белел в сером свете. Он смотрел на неё. Не на ребёнка. На неё.

— Я пойду к ручью, — сказала она.

Он не ответил.

Она встала и пошла. Не потому что хотела пить. Потому что надо было куда-то идти. Потому что если остаться, она начнёт считать. А если начнёт считать, она сойдёт с ума.

Ручей был холодным. Вода текла тёмная, почти чёрная. Она опустила руку, подержала. Зачерпнула ладонями, поднесла к лицу, но не напилась. Смотрела, как вода стекает сквозь пальцы. Капля. Пауза. Капля.

Она сжала кулаки. Вода выплеснулась.

Мэтью дождался, пока она уйдёт.

Он не двигался сразу. Стоял у пня, смотрел на ребёнка. На его руки. На красную нитку, что лежала на запястье, как маленькая змея. Три витка. Узел. Тот, что завязывала К.

Потом он повернулся. Пошёл к палатке Сандры. Прямо. Просто пошёл. Потому что решил.

Внутри было темно. Пахло брезентом и чем-то сладким — переспелые ягоды, которые никто не собрал. Пальцы прошли по краю спальника. Раз. Другой. Ничего. Глубже — под отворотом, завернутая в тряпицу: холодная керамика. Он развернул её.

Пальцы узнали её раньше, чем глаза. Трещину. Шершавый край. Белую глазурь с зелёной полоской.

Он вытащил кружку. Зажал в ладони. Вышел.

Сандра увидела его, когда выходила из-за поворота ручья.

Он стоял у пня. Держал кружку. Её кружку. Ту, которую она прятала три года. Ту, которую не могла выбросить. Ту, из которой пил её сын.

Она замерла.

Не рванула к нему. Не закричала. Просто встала — и воздух в груди кончился. Тишина. Полная. Глухая. Лёгкие сжались, как пустой пакет.

Мэтью положил кружку на пень. Рядом с кружкой К. Встал. Отступил на шаг. Посмотрел на неё.

— Зачем? — спросила Сандра. Голос тихий. Слишком тихий.

— Чтобы он знал, что она есть.

— Она не для него. Она моя.

Она шагнула вперёд. Каждый шаг давался, словно ступала по тонкому льду.

— Ты не имел права. Ты не знаешь, что это такое.

— Знаю.

— Ты не знаешь!

Голос сорвался. Впервые за три года. Впервые с того дня, как она держала его на руках и считала секунды, а он не закричал.

— Ты не знаешь, что это такое — держать кружку, из которой он пил. Смотреть на трещину и знать, что она появилась от того, что он ударил ей о стол. Смеялся. Смеялся и говорил: «Мама, тут трещинка, она кусается». А я смеялась. Я смеялась, Мэтью. Это был последний раз, когда я смеялась. Потом больница. Потом тишина.

Она замолчала. Гортань перехватило, будто кто-то сжал её изнутри пальцами. Слова кончились. Осталось только дыхание — частое, неровное.

— Ты не знаешь, как пахнет эта кружка, — сказала она тише. — Чай. Молоко. И его пальцы — он обхватывал её двумя руками. А теперь ты принёс её сюда, положил на пень, и хочешь, чтобы я смотрела на неё и молчала?

Она схватила его за запястье. Не резко. Сжала. Ногти вошли в кожу. Он не отдернул руку. Стоял. Смотрел на неё. В его глазах — ничего. Ни злости, ни страха. Та же пустота, что у неё.

— Отпусти, — сказал он тихо.

— Она не для него!

И тогда она закричала.

Один звук. Короткий. Хриплый. Как удар по металлу.

— НЕТ!

Крик ударил в стволы. Ушёл вглубь леса. Вернулся не сразу — спустя мгновение, хрипло, коротко. «НЕТ». Эхо прошло по поляне, задело брезент палаток, замерло у ручья. Лес повторил. Запомнил.

Сандра отпустила его запястье. Отступила на шаг. Дрожала. Плечи. Руки. Губы.

Ребёнок сел.

Медленно. Как будто каждое движение вытягивало из него силы. Он смотрел на Сандру. Глаза чёрные в сумерках. Без дна. Поставил кружку. Зажал уши руками. Не от страха. От узнавания — так показалось Сандре. Как будто этот крик он уже слышал. Где-то. Когда-то. В другой жизни, где тоже кто-то кричал. Одно слово. И тоже не помогало.

Сандра замерла. Смотрела на его руки — маленькие, прижатые к голове. На запястье — красная нитка. Узел. Тот же узел, что на палатке К.

— Ты слышал? — спросила она. Голос сорванный, почти шёпот.

Ребёнок не ответил. Опустил руки. Встал. Подошёл к пню. Посмотрел на кружку К. На букву, выцарапанную на дне. Потом перевёл взгляд на тринадцатую. Белую. С зелёной полоской. С трещиной.

Протянул руку. Пальцы — худые, с грязью под ногтями — коснулись керамики. Обхватили. Поднял. Прижал к груди. Не как вещь. Как того хотел бы обнять, но его нет рядом.

Сандра смотрела. Не дышала. В груди стянулось что-то тугое, горячее. Она хотела подойти. Отобратить. Прижать к себе. Вместо этого стояла и смотрела, как его пальцы сжимаются на белой глазури. Как трещина ложится на ладонь — ровно по линии жизни.

Мэтью стоял у пня. Неподвижно. Смотрел.

Анна вышла из палатки. Игла в руке. Без нитки. Подошла к пню, положила иглу на дерево. Металл коснулся коры. Сухо. Коротко. Как точка. Она не сказала ни слова. Ушла.

Ребёнок повернулся. Пошёл к костру. Лёг. На то же место. Прижал кружку к груди. Закрыв глаза. Дышал ровно. Слишком ровно.

Сандра стояла на коленях. Руки дрожали. Она смотрела на него. На его пальцы. Те же пальцы. Другой ребёнок. Та же трещина.

Ночь опустилась окончательно. Костёр погас. Мэтью не зажигал его снова. Сидел у пня. Смотрел на кружки. На свои руки. На ожог. Слушал тишину.

В палатке Сандры было тихо. Слишком тихо. Он знал, что она не спит. Что считает. Сбивается. Начинает заново.

Ребёнок лежал на мху. Кружка прижата к груди. Глаза закрыты. Дыхание ровное. Глубокое. Сандра сидела рядом. Не касалась. Просто была. Узел на его запястье — тот же, что был на одеяле её сына в больнице. Она считала его дыхание — не потому что боялась, что он перестанет. Потому что если перестанет считать, она услышит другое. То, что не хочет слышать.

И вдруг — звук.

Тонкий. Детский. Из темноты.

Губы ребёнка шевелились. Беззвучно. Почти. Но Сандра слышала. Наклонилась. Ближе. Ещё ближе. Ухо почти касалось его губ.

«Прости. Я не хотел.»

Два слова. Тихие. Как выдох, который не стал криком.

Сандра зажала рот ладонью. Чтобы не закричать. Чтобы не разбудить. Чтобы не спросить — за что? За то, что пришёл? За то, что взял кружку? За то, что умер и оставил её с этим?

Она не знала. И не хотела знать.

«Прости. Я не хотел.»

Снова. Те же два слова. Из темноты, которая была рядом. Из рта, который не должен был говорить. Из чужого сна.

Мэтью поднял голову. Посмотрел в сторону ребёнка. В сторону Сандры. Он тоже слышал.

Они посмотрели друг на друга через угли. Через темноту.

Мэтью открыл рот. Закрыл.

Не сказал ни слова. Не было слов, которые подошли бы. Он сидел и смотрел, как чужой ребёнок просит прощения во сне — за то, что взрослые не сделали.

Сандра не отпустила ладонь ото рта. Сидела. Слушала.

«Прости. Я не хотел.»

Кому он это говорил? Ей? Себе? Той, что ушла и не вернулась?

Она не знала.

Она хотела только одного — чтобы утром он проснулся. Чтобы кружка была на месте. Чтобы трещина не стала длиннее.

Но что-то сдвинулось. Как камень, который лежал на месте годами. Сдвинулся на миллиметр. И замер.

И это было страшнее, чем если бы он не пришёл.

ГЛАВА 5. РУЧЕЙ

Мальчик не спал.

Мэтью увидел это сквозь щель в брезенте — серое пятно, которое не двигалось, но и не дышало ровно. Ребёнок лежал на боку, колени подтянуты, пальцы обхватывали кружку с трещиной. Глаза открыты. Смотрел в одну точку между углями костра, и зрачки не двигались.

Мэтью подождал. Считал до тридцати. Потом вылез из палатки, накинул куртку на плечи и пошёл следом, когда мальчик встал и пошёл к ручью. На расстоянии — таком, чтобы ребёнок, если обернётся, увидел фигуру и понял: за ним идут, но не хватают.

Он не обернулся.

Ручей сужался у старой коряги, перекинутой через русло. Здесь вода шумела громче, билась о камни, закручивалась в маленькие воронки и выплёскивалась на корни. Мальчик сел на корягу. Опустил ноги в воду. Пальцы побелели почти сразу, но он не убрал их. Только чуть согнул, будто пробовал холод на вкус.

Мэтью остановился за сосной. Ветка хрустнула под подошвой — негромко, но в тишине между стволами звук разлетелся и вернулся приглушённым эхом. Ребёнок не повернулся. Поднял с земли палку — тонкую, с ободранной корой, которая слезала длинными волокнами. Опустил её в воду. Держал неподвижно.

Капли собирались на конце. Стекали. Падали в ручей.

Мэтью смотрел. Пальцы в кармане сжались вокруг иглы — той самой, тупой, тёплой от тела. Он не доставал её. Держал. Остриё упиралось в подушечку большого пальца, не продавливало, но напоминало.

Потом пришла Сандра.

Не с той стороны, откуда шёл Мэтью. Из-за поворота, где берег поднимался круто и порос кустами с тёмными ягодами, которые никто не собирал. Она не шла по следам. Ноги несли её сами, как несут к постели больного.

Села на корягу рядом с мальчиком. Не вплотную. Оставила между собой и им расстояние в ладонь. Смотрела на воду. На палку. На капли, которые срывались с конца и тонули.

— Ты ловишь? — спросила она.

Тишина. Вода. Шорох веток где-то высоко, где кроны смыкались и не пропускали свет.

— Здесь нет рыбы, — добавила Сандра.

Ребёнок не шелохнулся. Только костяшки пальцев побелели сильнее на палке. Не от холода. От чего-то другого. От того, что держишь слишком крепко, потому что если отпустишь — потеряешь.

— Может, ты ловишь не рыбу, — сказала Сандра. Голос ровный, без вопроса на конце. Не спрашивала. Утверждала.

Мальчик повернул голову. Впервые за всё утро. Посмотрел ей в глаза — три секунды, может пять. Сандра не отвела взгляд. В его зрачках — то, что она видела в зеркале по ночам, считая секунды между вдохами. Присутствие. Полное. Как будто всё, что могло случиться, уже случилось, и осталось только сидеть и смотреть.

Он отвернулся. Снова уставился на воду. Палка дрогнула в его руках — первый раз. Капли сорвались не в ритме. Сбились.

Мэтью сжал иглу в кармане. Остриё продавilo кожу. Он не отдернул руку.

Ребёнок вытащил палку из воды. Провёл ею по мокрому песку у берега — там, где земля была тёмной и податливой, как глина, которую мнут, но ещё не обожгли. Круг. Неровный, с разрывом на северо-западе. Потом точка внутри — не в центре, смещённая к левому краю. Потом ещё одна, справа. И крестик. Маленький, чёткий, вдавленный. Там, где за кругом начинался лес. Густой. Непроходимый.

Сандра не дышала. Смотрела на линии. Точка. Крестик. Ноготь вдавился в кожу на колене. Она не почувствовала.

— Что это? — спросила она.

Ребёнок стёр рисунок ногой. Не весь. Оставил крестик. Поднял голову. Посмотрел на Сандру. Не на глаза. На руки — пальцы, сжатые в замок. Будто искал что-то. Нашёл. Или не нашёл. Его взгляд опустел. Увидел — и перестал искать.

Он встал. Пошёл обратно к поляне. Босиком. Не обернулся. Мох под его ногами почти не издал звука.

Сандра осталась сидеть на коряге. Смотрела на песок, на стёртый круг. На крестик, который он оставил. Там, где лес сгустился. Там, где не было тропы.

Она запомнила.

Лиз стояла у своей палатки, когда ребёнок прошёл мимо. Она смотрела на его ноги. Грязные. Босые. Корка земли между пальцами, как у того, кто идёт не первый день и не собирается останавливаться.

Она зашла в палатку. Вышла с рюкзаком. Не большим. Достаточным, чтобы идти три дня. Или четыре. Или столько, сколько понадобится, чтобы лес кончился.

— Я пойду, — сказала она.

Никто не ответил. Анна сидела у своей палатки, тонкая игла в руке, нитка на запястье. Не подняла головы. Марта стояла у ручья, пальцы в воде. Мэтью смотрел на чайник. Холодный.

— Ты слышишь? — Лиз говорила с Мэтью. С его спиной. С его сторбленными плечами.

— Слышу.

— Я пойду по реке. Река выведет. Любая река куда-то ведёт.

— Река течёт в лес, — сказал Мэтью. По-прежнему не оборачиваясь. — Я проверял.

— Ты проверял не с той стороны.

Он повернулся. Посмотрел на неё. На рюкзак, на руки, сжатые в кулаки, как будто она уже держала что-то и не хотела отпускать. Или как будто хотела ударить.

— Иди, — сказал он. — Если хочешь.

Лиз развернулась. Пошла. Быстро. Не оглядываясь. Анна подняла голову, когда она проходила мимо. Игла замерла в воздухе. Нитка натянулась, тонкая, почти невидимая. Анна не сказала ни слова. Смотрела, как Лиз входит между стволами, как её куртка мелькает серым пятном и исчезает.

— Она вернётся, — сказала Анна. Тихо. Не Мэтью. Себе.

Мэтью не ответил. Взял кружку. Налил чай. Поставил на пень. Пар поднялся и растаял в сером воздухе.

Лиз шла.

Считала шаги. Сбилась на двухстах. Начала заново. Сбилась на четырёхстах. Перестала считать. Лес не менялся. Сосны. Ели. Берёзы с ободранной корой, белые, как кости, которые обглодали. Река сужалась. Не расширялась. Сужалась. Становилась тоньше, тише, как голос, который осип и скоро замолкнет.

Она шла три часа. Или четыре. Солнца не было. Свет не менялся. Серый, ровный, без теней. Она не могла определить время. Только ноги болели. И рюкзак давил на плечи. И река не выводила.

Там, где деревья должны были расступиться, где должен был быть просвет, дорога, поле, что угодно, — стволы стояли вплотную. Стена. Не стена. Частокол. Без щелей. Без просветов. Между ними — темнота, густая, как смола.

Лиз остановилась. Посмотрела на свои руки. Грязь под ногтями. Тёмная, жирная, с кусочками коры. Она не помнила, когда испачкалась. Не помнила, что копала. Но она копала. Пальцы ныли. Под ногтями — земля. Не просто земля. Глубокая. Та, что пахнет корнями и гнилью. Та, что бывает, когда копаешь не сверху, а вглубь.

Она повернулась. Пошла обратно.

Вышла на поляну. Три часа спустя. Или два. Она не знала. Руки в грязи. Куртка в царапинах. Глаза пустые, но сухие. Не истерика. Не слёзы.

Мэтью сидел у пня. Кружка в руках. Холодная. Он смотрел на неё, но не пил. Когда Лиз остановилась в трёх шагах, он поднял голову.

— Вернулась, — сказал он. Не вопрос.

— Да.

— Ты уже приходила.

Лиз замерла. Рюкзак всё ещё на плечах. Она не сняла его. Как будто не верила, что вернулась. Как будто если рюкзак на месте, она всё ещё идёт.

— Что?

— Ты уже приходила. Два часа назад.

Она смотрела на него. На лицо, на руки, на кружку, которую он держал и не пил.

— Я не приходила, — сказала она. — Я только что ушла.

— Это уже второй раз.

Лиз молчала. Секунду. Две. Три. Её руки дрожали. Грязь осыпалась на колени, тёмными хлопьями.

— Второй, — повторила она. Тихо. Подтверждение. Внутри щёлкнуло. Не память. Хуже. Отсутствие памяти. Пустое место там, где должен быть путь.

— Ты сидел здесь, — сказала она. — Откуда ты знаешь?

— Ты оставляешь следы. Когда возвращаешься.

Он кивнул на землю. Лиз посмотрела. У входа в палатку. Дорожка. Примятая. Отпечатки ботинок. Её ботинок. Два слоя. Может, три. Она не помнила первый раз. Не помнила, как выходила. Не помнила, как возвращалась. Помнила только этот. Последний.

Лиз сняла рюкзак. Медленно. Положила на землю. Села.

Смотрела на свои руки, на грязь. На отпечатки, которые оставила и не помнила.

— Ты знал, — сказала она. — Ты знал, что я не дойду.

— Я знал.

— Почему не сказал?

Мэтью поставил кружку на пень. Посмотрел на неё. На Лиз, на её руки, на грязь, которая въелась в кожу и не отмывается.

— Ты должна была увидеть сама.

Лиз смотрела на него. Долго. Глаза сухие. Не злые. Не истеричные.

— Я не дойду, — сказала она.

— Я знаю.

Она кивнула. Один раз. Встала. Пошла к своей палатке. Брезент качнулся и затих.

Мэтью сидел у пня. Смотрел на её следы. Два слоя. Может, три. Завтра будет четыре. Или пять. Или она перестанет ходить. Он не знал, что хуже.

Ночь легла на поляну, как мокрая ткань. Костёр догорел до углей. Красных, тлеющих, с редкими искрами, которые гасли, не долетев до веток. Никто не зажёл его снова.

Сандра сидела у входа в свою палатку. Не спала. Смотрела на поляну. На пень. На кружки. На палатку К., пустую. Вход приоткрыт. Как всегда. Как будто кто-то только что вышел. Или только что войдёт.

Она слышала, как Лиз дышит. Часто. Неровно. Потом дыхание стало ровнее. Потом затихло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.